

26 мая 2016 года поэту и правозащитнику Наталье Горбаневской исполнилось бы 80 лет.

Об этом уникальном человеке рассказывает поэт, журналист и правозащитник Владимир Рибопьер.

— **Володя, как вы познакомились?**

— Я начну издалека, как обычно начинает поэт о поэте. Не с того смысла, который предлагается для разговора, а с какой-то там небесной оклицы. Сейчас многие говорят о Наталье Евгеньевне Горбаневской — это имя, устоявшееся словосочетание... Но для меня, как и для многих, она была просто Наташей. С давних-давних пор.

Впервые о Наталье я услышал по радио. Из сообщений западных радиостанций. Речь идет о вторжении советских войск в Чехословакию в августе 1968 года.

— **Тогда мы были совсем маленькими — мне было почти семь лет.**

— Мне одиннадцать. Я не говорю, что узнал о Наталье Горбаневской в 68 году. Конечно, этого не было. Но о вторжении войск в Чехословакию, как мне кажется, знали тогда все. Я очень хорошо помню то лето, подмосковную дачу. Мой отец читал только что вышедшие мемуары маршала Жукова — они были редкостью. В магазинах — из-под прилавка. Мама приехала из Москвы на дачу и сообщила, что произошло вторжение. Я очень хорошо помню напряжение между родителями, которое возникло. Я его — как человек, осознающий события, — тогда, конечно, не понимал. Лишь только слышал какие-то странные слова. Прага, Чехословакия, танки. Осознание пришло позже.

Так вот, в семидесятых годах — где-то в 74–75-м я активно слушал западные радиостанции. У меня был старый приемник, который собрал из немецких деталей — от старого Грюндика — приятель отца. Он был хорошим техником и антенну сделал. Мы тогда жили в центре Москвы, почти на улице Горького, на второй Тверской-Ямской на 6-м этаже. У нас был большущий балкон, и вот эта антенна — такая мохнатая с проволоками в разные стороны — стояла на балконе, и я ловил западные вражеские голоса. Примерно в десятом классе — я впервые услышал имя Натальи Горбаневской.

Я помню, что очень сложно было слушать. Приемник был старый. Его зеленый глаз то смыкался, то размыкался — как бабочка.

— **Зеленый цвет — цвет надежды.**

— С этим зеленым цветом у меня и оказалось связанным впервые услышанное имя.

Потом прошли какие-то годы, и уже учась в Университете, я познакомился с близким окружением отца Александра Меня. Как-то пришел в гости к Марине Журиной. А Марина была далеко не последним человеком. Она редактировала тексты батюшки, которые потом выходили книгами в брюссельском издательстве «Жизнь с Богом». И вот у нас с ней сложились очень тесные отношения, хотя она была старше меня на 16 лет. Марина мне, помнится, говорила: «Я только одному человеку позволяла лежать на своем диване, укрывшись пледом — Наталье Горбаневской». Под этим пледом лежал потом и я. На том же самом диване. Наталья Горбаневская уехала из СССР в 75-м. А я на этом диване оказался двумя годами позже. Марина Журиная помогла мне узнать о Горбаневской. Наташа любила пить кофе, курить сигареты. И читать стихи.

Марина умерла в Москве незадолго до смерти Наташи в Париже. Я узнал об этом от Габриеля Суперфина, троюродного брата Марины Журиной, известнейшего правозащитника, историка, архивиста...

Все эти имена многое говорят... Эти люди принимали активное участие в правозащитном движении в СССР. Они повлияли и на мое становление.

— ***Расскажи, пожалуйста, о записи концерта Александра Галича...***

— Очень хорошо помню, что одна из самых первых качественных записей с концерта Александра Галича в Цюрихе, которая оказалась в моем распоряжении через французского дипломата — кажется, это было накануне Олимпийских игр в Москве, — была сделана Натальей Горбаневской. Гораздо позже, когда я в первый раз приехал в Париж, осенью 88 года, Наташа говорила: «Да, да, да... Я записала Галича и послала нескольким друзьям в Россию». Галич тогда расхотелся на магнитофонных лентах удивительно широко, но качество их было далеко не лучшим... Можно сказать, что благодаря Наташе песни Галича активно и очень органично вошли тогда в мою юную диссидентскую жизнь. Это я хорошо помню.

Один из друзей Галича и друг Лунгиных — московских кинорежиссеров — композитор Николай Каретников рассказал мне о том, что на этом самом концерте были вопросы русской эмиграции. Но Наташа записывала только песни. Один из вопросов звучал так: «А что это вы поете — мент приедет на козе, зафуячит в кэ-пэ-зе? Мы что-то совсем этого не понимаем». Мы долго смеялись. Эмигрантам, тогда еще хранившим какие-то свежести и прелести дореволюционного русского языка, понимать советский словесный дичок было чрезвычайно трудно.

О Наталье Горбаневской я узнал после демонстрации 68 года. Потом ее стихи. Стихи доходили до меня регулярно. Я читал их в тех изданиях, которые мне приносили из французского посольства и из посольства Соединенных Штатов в Москве. Из газеты «Русская мысль», «Вестника русского христианского движения», журнала «Континент», с которыми она сотрудничала.

— **Наверное, больше всего из «Русской мысли»...**

— Да, с «Русской мыслью» связана большая часть журналистской деятельности Натальи Горбаневской во Франции, в Париже. Эти стихи повлияли на меня, но сказать, что они меня поставили как поэта, нельзя. Потому что я всегда воспринимал Наташу некоей собеседницей. Хотя стихи очень хорошие.

Я хорошо помню разговор в квартире Ларисы Богораз, в Москве. Речь зашла о поэзии... То ли Санька Даниель, то ли Арсений Рогинский, который сейчас возглавляет «Мемориал», спросили у Ларисы, кто ей ближе по сердцу как поэт — Наталья Горбаневская или Белла Ахмадулина. На что Лариса ответила — Наталья Горбаневская. А потом пояснила. Не потому что мы с ней вышли на Красную площадь и вместе занимались правозащитной деятельностью, просто мне гораздо ближе состав её поэзии. Это, видимо, как состав крови — одинаковый... Группа крови совпадает.

— **Прочитаешь любимые?**

— Я люблю открывать книги случайно, как они открываются. Перед нашей беседой я открыл одну из книг Натальи Горбаневской, которая называется «Побережье». Книжка издана в американском издательстве «Ардис» в 1973 году. Она открылась на стихотворении, посвященном Юрию Галанскову — известному советскому диссиденту и поэту, который умер в лагере.

*В сумасшедшем доме
Выломай ладони.
В стенку белый лоб,
Как лицо в сугроб.*

*Там во тьму насилья,
Ликом весела,
Падает Россия
Словно в зеркала.*

*Для её, для сына
Дозу стелазина
Для неё самой
Потемский конвой.*

Другое стихотворение, очень короткое. В этой книге, она, как правило, пишет тремя четверостишьями.

*Безлиственная легкость
Пустых апрельских роц
Зеленый мох, прозрачный
Ручей, холодный хвоц.*

*Беспамятная легкость
Как сном размытых слов,
Прозрачный день зеленый,
Осинник — сто стволов.*

*Реки изгиб холодный,
И в дальнем далеке
Скрипит прозрачный ветер
В румяном ивняке.*

Очень такие... прозрачные стихи. В какой-то степени бунинские. На этом открылась её книга. Я привык доверять своему чутью. Так оно и вышло.

— ***Как произошла ваша личная встреча?***

— Личная встреча произошла осенью 1988 года в Париже. Наташа с Аликом Гинзбургом встретили меня на Северном вокзале, когда я прибыл поездом из Москвы. И повезли на машине через весь Париж в редакцию «Русской мысли». Я ехал по Парижу — это был хороший день, светило солнце, была такая достаточно сухая осень, — и меня ошеломило количество красок. От поезда и прошлой жизни я еще сохранил какой-то советский запах, он не выветрился даже из моих волос. И вот я ехал в этой машине, смотрел по сторонам, а Наташа, которая сидела рядом, всё говорила: «То-то, то-то, не ты первый так оглядываешься, мы тебе еще покажем Париж! Ты еще увидишь, что такое настоящая жизнь».

Потом мы приехали в редакцию «Русской мысли», и там все закрутилось, завертелось... Это уже другая история. Впоследствии я работал там, прежде всего как представитель «Экспресс-хроники» — это первое неофициальное, информационное, еженедельное издание в СССР, которое выходило без перерывов. Главным редактором был Александр Подрабинек. Мы с Санькой Подрабинеком, Володей Корсунским, Петей Старчиком возглавили редакционную коллегия. У нас уже через два года было достаточно корреспондентов — больше восьмидесяти. В разных местах. Мы получали информацию. «Экспрес-хроника» задумывалась давно, еще в 1986 году... Когда Саша Подрабинек освободился из лагеря, но еще у него была ссылка — мы с ним встретились в Москве и тогда решили создать этот правозащитный журналистский проект. В продолжение «Хроники текущих событий», которую вела Наташа. Естественно, была слежка, телефоны прослушивались, отключались, но это нас не останавливало — мы шли дальше. Потом появилась редколлегия и корреспонденты в разных местах... В «Русской мысли» я занимался тем, что давал самые последние новости из «Экспресс-хроники». Мне нужно было сидеть на телефоне, записывать на диктофон корреспондентов. Потом все это перепечатывать... Частично печатал я, частично машинистка... Работа

была довольно тяжелой, многочасовой. Мы до восьми, до девяти, иногда до десяти вечера сидели в редакции.

Я хочу остановиться на слове «мы». Все уходило, в редакции оставались только два человека — Наталья Горбаневская и я.

Хочу прочитать еще одно короткое стихотворение Наташи — оно очень показательное и очень хорошо её подает. Такой она была. Так относилась к прошлому, настоящему и будущему.

*Не вижу, не слышу, не чую
и лишь осязаньем — глазет.
В мою похоронную сбрую
добавьте подшивку газет,*

*которым, уже пожелтелым,
себя отдавала, не лгтясь
навязывать духом и телом
с потомками хрупкую связь.*

После работы мы выходили в город — редакция находилась в самом центре Парижа, недалеко от Триумфальной арки. Стояли замечательные дни. Мне запомнился один дождливый, но очень теплый осенний день. Вода течет по мостовой, пахнет жареными каштанами, ослепительно блестят витрины... Мы заходим в несколько знакомых Наташе ресторанов. Она их все время меняла. То французский, то китайский, то тайский... То еще какой-то. И вот мы сидим... Долго—долго... Я вошел во вкус. Наташа меня познакомила с таким долгим сидением, с курением сигарет, с питьем напитков, с чтением стихов... Она читала, я читал. Потом мы шли к станции метро и расходились. Такие вечера осенью 88 года у нас были довольно часты.

— **Тогда в Париже началась твоя семейная жизнь?**

— Как раз в это время моя будущая жена — голландка Дафна приехала в Париж из Амстердама. Еще в начале 1984 года она оказалась в Москве, где мы и познакомились. Потом не виделись три года. И вот в Париже мы, наконец, встретились и решили пожениться. Родители невесты захотели тоже со мной познакомиться. Вначале была короткая встреча в каком-то фешенебельном парижском отеле на Елисейских полях, — не более часа. А следующая встреча была назначена в городе Нанси — это под Страсбургом. Наташа меня спрашивала: «Почему так далеко?» Я отвечал, что папа Дафны — бизнесмен, в Стасбурге у него какие-то дела. И мне нужно ехать из Парижа в Нанси. И вот именно Наташа меня подготовила к этой встрече. Очень хорошо подготовила. Дело в том, что я приехал в Париж в какой-то странной рубашке, на которой были нарисованы маленькие машинки. Наташа меня передела. Дала какую-

то свою кожаную куртку, шарф, шапку, сапоги — было уже достаточно холодно. Она проводила меня до вокзала и снабдила своей проездной картой. Она давно жила во Франции, и ей полагались скидки. С этой карточкой я купил более дешевый билет и поехал в Нанси.

Что сказать? Наташа была женщиной удивительно близкой для меня в Париже. Из самых близких людей я бы мог назвать несколько — это Наташа Горбаневская, Алик Гинзбург с Ариной и Сильви ле Пер — корреспондентка газеты «Ле монд», с которой я тоже познакомился в Москве. Я у нее и жил, у Сильви.

— ***Чем еще запомнилась Наталья Горбаневская в Париже?***

— Наташа любила — помимо ресторанчиков — заходить в дешевые кафе и играть в автоматы. Это была её какая-то болезнь. Она бросала монеты, нажимала какие-то рычаги, все крутилось, вертелось, зажигалось. Иногда выпадал выигрыш, но чаще не выпадал. Однажды после ресторана мы пошли в кино на фильм, который она смотрела уже двадцать или тридцать раз. Это был фильм Романа Полански «Бал вампиров». На английском языке. Я не знал сюжета, смотрел первый раз... И ужасался. Какие-то вампиры, зубы, кровь... Кусают в горло. Гробы, старинный замок, снег, холодно, луна... А Наташа смеялась. Ей было весело. Говорила: «Я многих, приезжающих из СССР, таскаю на этот фильм. Мне интересна их реакция. И потом — это все-таки хороший фильм. Он не страшный на самом деле. Сделан с большим юмором». Если еще и оставался её старый советский страх (во сне за ней гонится «черная волга», заезжая на тротуары, скрипя колесами...), то от него она избавлялась по-Фрейдю весьма оригинально.

— ***Сколько длился этот парижский период?***

— С начала сентября до конца декабря 1988 года. Я так свыкся с Парижем, что возвращаться в Москву было неохота. Все уже шло по налаженному пути. Я помню, что когда я поехал обратно, вся редакция «Русской мысли» передавала мне какие-то сумки. Чтобы я отдал их в Москве — каким-то друзьям, знакомым... Книжки, одежду, все что угодно... Алик Гинзбург — не сообщив мне об этом — передал небольшую портативную радиостанцию в разобранном виде, которая досталась ему от профсоюза «Солидарность». Я не знаю, зачем это нужно было делать. Когда меня высадили с поезда в Бресте со всеми сумками, полковник КГБ — поезд ушел без меня — спрашивал: «Откуда такая радиостанция?» Я отвечал: «Понятия не имею». Я действительно не знал, откуда она взялась. Многих тогда не проверяли, время было уже достаточно вегетарианское. Меня проверили. Я вез большое количество книг Солженицына, «Континент», «Вестник христианского движения» — очень много всего. Большую часть конфисковали. Но потом я в Брест съездил еще раз и многое мне вернули. А радиостанция пропала, с концами.

Время с сентября по декабрь было благословенное. Я его очень хорошо помню. Часто к нему возвращаюсь в памяти. В Париже мы решили с Дафной пожениться. Париж был первым городом после совка. Первым замечательным городом. Но у меня не было какого-то шока.

Однажды Гинзбурги разыграли такой трюк. На перекрестке улицы Риволи и какого-то бульвара они меня бросили. Просто скрылись. А я оказался в парижской гуще. В толпе. Вначале не понял, что они ушли. Потом до меня дошло, что меня решили научить Парижу, как ребенка учат воде — просто бросают в воду. Он должен махать руками и ногами, чтобы выплыть. Я не очень-то долго маялся. Минут 10–15. Зашел в соседнее кафе, выпил пива, и жизнь показалась другой. Я понял, что должен сам, самостоятельно разбираться в этом городе — в Париже. Нащупывать его, так сказать, нерв. Почувствовать его архитектонику, инфраструктуру... И мне очень быстро удалось это сделать. И я, можно сказать, с Парижем стал на ты. В любой точке центра мог сориентироваться.

— *Расскажи о последующих встречах с Натальей.*

— Когда я приезжал в Париж, я обычно всегда звонил Наташе, и она меня кормила всякими замечательными ужинами. У нее сохранилось много рецептов... Вот, перед нашим разговором, я нашел рецепт борща от Натальи Горбаневской.

Примерно за шесть лет до её кончины я приехал в Париж — это было летом, стояла ужасная жара — и она накормила меня борщом. Удивительно вкусным. Уж как я его хвалил... И Наташа дала мне рецепт приготовления этого борща. Кстати, борщ этот её научила варить Людмила Улицкая — сейчас известная писательница. Она ее звала Люся.

«Начать надо с того, как учила меня варить борщ Люся Улицкая. За что ей теперь, видимо, и дали Букера. А потом — мои прибавки.

1. Готовишь мясной бульон — овощной суп, капуста, картошка... Он должен быть не доготовленным в момент, когда начинаешь готовить заправку. То есть, например, картошку лучше класть, когда заправка уже готовится.

2. Готовишь заправку. Как всегда начинаешь с лука. Режешь, поджаришь. Трешь или мелко режешь свеклу, морковь. Свеклу сырую или вареную. Вареную — точнее. Печеной надо брать больше. Кладешь в жарящийся лук и бланшируешь. Так чтобы оно все стало довольно мягким. Потом бросаешь заправку в бульон или суп, даешь чуть-чуть повариться и делаешь любые добавки. Из которых обязательные — томатная паста и тертый чеснок. Все добавки делаются в последний момент. Дальше, начинается, как писал пан Адам Мицкевич, великая импровизация.

Во-первых, опытным путем в городе П. выяснено: капусту (или заменяющий её порей, у которого надо отрезать зеленые верхушки и порезать сначала пополам в длину, а потом поперек полукольцами) тоже надо бланшировать вместе с остальным имуществом, а не класть сырой в воду.

Второе — без сельдерея у меня борща или овощного супа, как правило, не бывает. Сначала я, дура, клала его только для запаха — провариться в бульоне мясном или овощном, а потом вытаскивала. И так я поступала не только с борщом, но и с простым овощным супом. Потом стала нарезать нижнюю часть стеблей, а листики проваривать в бульоне. Теперь часто и листики бланширую вместе со всем остальным. И они тоже весьма съедобны. Правда, если я чувствую, что гущи будет слишком много — мои едоки не считают нужным, чтобы ложка в борще стояла как говорится в правилах, — тогда листики только провариваю и выкидываю на белую часть стебля...»

Ну и так далее. То есть Наташа описывает, что она там добавляет, и в конце она пишет: «Кроме томатной пасты, чеснока, петрушки, базилика — укроп сухой или немножко уксуса примерно чайную ложку на хорошую кастрюлю. К нему два куса сахара. Черный перец и можно какую-нибудь острую приправу. Типа аджики».

И вот здесь — главное. Она пишет: «Но главное — импровизировать. Целую вас всех. Наташа».

Вот она была, в принципе, как импровизация. Как импровизация стихотворения, как импровизация легкой жизни. Легкого дыхания. Она не имела врагов. Даже в сваре между диссидентами третьей волны на Западе она особого участия не принимала. Она всегда как бы стояла над битвой. Она была действительно очень хорошим человеком. Маленькая, чуть-чуть хромящая — это в моем стихотворении Памяти Наташи Горбаневской есть. Но она всегда шла своим путем. Она знала, что ей надо делать. Жалко, что её не стало. Для меня это была очень большая потеря. Это было так неожиданно. Не только для меня, для многих. Когда я узнал, я сразу же позвонил её старшему сыну Ясику — Ярославу Горбаневскому. Он художник. Наташа, мне помнится, показывала его картины, когда кормила этим своим вкусным борщом. Хорошие картины, он тогда только-только начинал. А сейчас уже выпрямился, обрел какую-то художественную статью.



Хоронили Наташу на Пер-ла-Шез, в Париже. Было начало декабря. Бесснежная зима. Много-много народу собралось. Река людей. Я такого большого количества людей в последние годы на похоронах не видел. Приехал посол Польши, посол Чехии... Она ведь с Польшей была связана теснейшим образом. Польский язык знала практически, как русский.

Еще я бы хотел добавить про мой визит в Париж в 2004 году. Когда жара была невероятная. Когда Франция — и вся Европа — стонали от жары. Наташа даже красное вино, которое всегда пили не охлажденным, держала в холодильнике. Теплое в глотку не лезло. Я тогда написал ей экспромт.

*Ты любишь Париж и спросишь:
каков он в закатный час?
Серо-белый Париж мотылек перед бурей.
Это истлевшее платье невесты,
это профиль и никогда анфас.*

— **Володя вспомни, пожалуйста, какое-нибудь яркое впечатление о Наталье. Может быть, какой-то жест... Или слово...**

— Яркое слово, яркий жест... Помню, как она откидывает волосы, близоруко озираясь, словно чего-то ищет. И только через какое-то время становится понятным, что ищет сигареты.

— **Может быть, не яркое — самое характерное... Отличительное.**

— Она никогда не конфликтовала. В ней не было дерзости. Она была очень органичной. Она ценила юмор и была очень самоироничной, но вот характерное в Наташе... что можно отметить? Может быть, когда она снимала и надевала очки. Потом снова снимала, как-то притирала глаза, задумавшись над ответом. И ответ всегда был каким-то очень лаконичным. Недолгим. Немногословным. Она любила во фразе лаконизм. Не любила шумные собрания, сборы. Всегда предпочитала какую-то тень одиночества. Какое-то такое сизое крыло одиночества над ней всегда было. А без этого у неё и стихи бы не получались. Я думаю, что это у нее, скорее всего, было с детства.

Она любила кормить гостей. И охотно читала стихи... Некоторые жеманятся: ой, да ну что вы... оставим, сейчас не время, не место... Наташа была готова всегда читать свои стихи. Она очень любила польских поэтов.

Вот что — может быть — самое главное. В принципе, о поэзии Наташи писали достаточно много, но никто, на мой взгляд, не сказал о том, что она поэт-авангардист. Она является таким положительным спектром авангардизма. Попыткой примирения разных поэтических школ. Например, Маяковского и Цветаевой. Она пыталась преодолеть разрыв между уже сохраненным поэтическим опытом, который был связан с эпо-

хой.. И одновременно в перспективе как бы вычерчивала линии судьбы. Ты питерец, наверное, тебе это будет интересно — некие прямые линии. Достаточно просматриваемые в её поэтических текстах. Прямые, как судьба, как Невский проспект. И в конце — Анна Ахматова. Она, может быть, и не специально это делала, но по прошествии времени уже после ее смерти, перечитывая стихи Наташи, невольно приходишь к этому выводу. Что в конце какое-то окно... С Ахматовой в окне.

Так вот, она поэт-авангардист. Из положительного спектра авангардизма. А в отрицательном, безусловно, Дмитрий Пригов с окружением.

Еще одно — характерное. Наталья никогда не впускала в себя постмодернизма. Явления, явно навязанного эпохой. Сбрасывала его со своих поэтических счетов. Обошла его стороной. Мне кажется, это необходимо сказать и понять. У меня, к примеру, другое... Я занимаюсь метаисторизмом. Я сам создал эту свою школу метаисторической поэзии. Стою только в её начале. Конечно, потом придут другие и начнут все это по-другому осознавать... С Наташей мы шли совершенно разными путями. Но для меня — она была чрезвычайно интересным, реагирующим на всякую фальш поэтом. В её стихах никакого лишнего слова, лаконизм и предельная собранность в метафорическом плане. Она стремилась — и достигала этого — не слишком перегружать стихотворение. Оставлять его свободным, в полете. Так чтобы читатель мог к нему отнестись с должным пониманием. Она не писала поэм, у Наташи нет длинных стихов. Все короткие.

— **Цитата из Льва Рубинштейна: «Она была поэтом, прежде всего. Поэтом по преимуществу. И поэтом замечательным. Её видимое миру социальное геройство временами заслоняло её поэтический масштаб». Какой масштаб — поэтический или общественный — по твоему мнению, превалировал в Наталье?**

— Поэтический или общественный? Я думаю, что для неё это было слито. Слитно. Я думаю, что она нашла какие-то свои пропорции. И разделять общественное и поэтическое не могла. Она действительно очень много занималась общественными делами. Выходили книги — нужно было выступать. Она приезжала в Москву, в Питер, в Прагу, в другие города... И общалась с разными людьми. Но для неё всегда важным был поэтический момент. Я не думаю, что Наташина общественная популярность мешала ей больше писать. Она сама избрала этот путь, и ей, по-моему, было хорошо. Именно в такой растяжке. Кстати, куда бы она ни приезжала, — аудитория везде находилась.

— **В Википедии есть такая характеристика: она испытывала личную вину за все происходящее. Ты в Наталье это ощущал?**

— Любой поэт, любой чувствующий, памятный, совестливый человек это ощущает. В ней было величие замысла. По Ахматовой. Она се-

бя так ощущала. Ответственной за всю страну. За все её грехи. Это тяжёлая участь, если человек себя так чувствует. Ведь выход на Красную площадь — это же ведь тоже было, извини меня, не какая-нибудь демонстрация обычного протеста против ввода советских войск в Чехословакию. Бери гораздо шире. Эти семь — или восемь, включая Татьяну Баву — демонстрантов стояли на брусчатке 25 августа, развернув лозунги «За вашу и нашу свободу». Вот в этом и чувствуется вина каждого, пришедшего на эту демонстрацию человека. Вина за то, что происходит с их страной. С миром. Они чувствовали себя ответственными за это. И они заплатились. И были, в общем-то, счастливы.

Наталья Горбаневская ни разу не изменила себе. Таких людей — единицы.

— *Спасибо.*

*Беседовал
Владимир Хохлев.
08–21.07.2016.
Санкт-Петербург — Амстердам.*

